

ОЛЕГ ДАРК

НА ОДНОЙ СКОРОСТИ



РУССКИЙ
ГУЛЛИВЕР

Олег Дарк

На одной скорости

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=27050325

На одной скорости (14 рассказов):

ISBN 978-5-91627-141-6

Аннотация

Больше всего это напоминает кино. Разумеется, черно-белое. Читателю, может быть, неостанет цвета. Но эта нехватка с успехом компенсируется напряженностью сюжетов и судорожностью стиля. Убийства, неизлечимые болезни (душевные и физические), много насилия и немного о любви. Живые и мертвые (и они удивительно похожи)... Так Одиссей спускался в Аид и говорил с захваченными амнезией тенями. Гротесковость, маскирующаяся под реалистичность, и реалистичность, маскирующаяся под гротеск. Темный, темный коридор, и иногда в конце чуть брезжит свет. Или это так кажется. Обманы зрения и зримости обманов. В общем, современная литература, но не без давних истоков. Достоевский, Леонид Андреев, Мамлеев... – такую можно выстроить историю преемственности.

Содержание

О понятии «скорость»	7
Бриллианты	10
Названия нет, и не будет	13
Фрейдистская диалогия	18
Поспорили на сто рублей	24
Труп	27
Со стороны свидетеля	33
Конец ознакомительного фрагмента.	37

Олег Дарк

На одной скорости

(14 рассказов)

Олег Дарк – прозаик, литературный критик. Родился в 1959 г. Из семьи учителей. Подмосковное детство описано в автобиографической повести «Андреевы игрушки» (Знамя, 1999, № 3). Окончил филологический факультет МГУ. Сменил много работ: от музейного сотрудника и редактора в издательстве до вахтера и сторожа на стройплощадке. Автор сборника рассказов «Трилогия» (1996, иллюстрирован листовертнями Дмитрия Авалиани). Комментатор изданий Ф. Сологуба, В. Набокова, В. Розанова. Составитель антологий «Проза Русского Зарубежья» (в 3 т.; М., «Слово/ Slovo», 2000) и «Поэзия Русского Зарубежья» (там же, 2001). Публиковался в журналах «Дружба народов», «Родник» (Рига), «Знамя», «Новый мир», «Вопросы литературы», «Новое литературное обозрение», «Пушкин», «Русский журнал», «С@юз Писателей» (Харьков), «Воздух», «Гвидеон» и др.; альманахах «Стрелец», «Вестник новой русской литературы», «Комментарии».

Именно на одной скорости – а не на большой скорости или на маленькой. Олег Дарк придумал новое измерение литературы. Точнее: не придумал, а скорость явилась, – рас-

сказывал как-то Дарк о будущей книге.

И, при всех оговорках автора, при всех сомнениях читателя, эта Скорость ощущается, и не важно даже, меняется ли она, насколько велика, куда направлена, – Дарк заставил помнить о скорости повествования и замечать ее. Он этой скоростью, этим движением гипнотизирует читателя в своих литературных целях. Благих? Трудно сказать. Хорошо ли, когда мозг читателя осыпается кровавым дождем? И да и нет, зависит от обстоятельств, настроения и цели чтения.

«Это была странная болезнь. В мозгу образовывалась красная кровавая точка. Она ширилась, разрасталась, пока всю верхнюю половину мозга не затягивало красной капельной пеленой, как на картине пуантилиста. Затем она начинала осыпаться. Это было похоже на капель. Сначала очень медленную: по одной капле, и с большими перерывами, потом по две, три, и перерывы сокращались, а падение учащалось. Пока вся эта красная дождевая занавесь не обрушивалась наконец сплошным потоком».

Это начало рассказа «Этаназия (Два дня из жизни)», выделяющегося большим размером и автономностью. Он близок к концу сборника, на нем, возможно, и начинается тот кровавый ливень в мозгу читателя – до этого была неясная накопительная капель.

По насыщенности жестью этот цикл приближается, пожалуй, к творениям двух писателей: раннему Мамлееву

и раннему Сороки-ну. Как и они, пугает Дарк не развлечения ради. Да он и не пугает. Рассказы порождают не ужас, а другое: тревогу. Это в высшей степени тревожная проза – смутно-тревожная, экзистенциально-тревожная, литературно-тревожная. Как сама реальность (или как сон). Что-то прячется за текстом. Страшное или нет, мрачное или веселое (странное веселье штурмующих Кремль, странный майнкрафт), мудрое или ржаво-тупое, – но что-то важное.

Сюжеты движутся, обрываются, снова выныривают откуда-то сбоку, персонажи живые или слегка мертвые (живые у Дарка пострашней, пожалуй), похитители бриллиантов и солдатики с хоботами противогазов – материализуются и распыляются в пепел и сон. А если в рассказе ничего не происходит, то все же происходит: скорость.

Валентин Алень

О понятии «скорость»

У Юрия Тынянова было представление о категории величины произведения как жанрообразующей и жанроразличающей. Рассказ меньше повести, повесть – романа, роман не может (и не должен) быть маленьким и под. Когда мы, в современной литературе, начиная с конца XX века, утратили (или отказались от него) это представление о величине произведения как образующей и различающей жанры, мы тем самым утратили и само это различие. Жаль. Разнообразие мира (в данном случае – литературного) определяется в том числе и обособленностью и отдельностью его явлений. Что нисколько, разумеется, не мешает, а только способствует их взаимному переходу. Чтобы переходить друг в друга, явления должны быть отдельными.

Мне же, когда я только начинал писать этот цикл, со второго, третьего рассказа, явилась категория скорости. (Честность заставляет признать, что пара рассказов из цикла (все-го их 14) написана на иной скорости, чем другие. Однако название я оставил, чтобы ввести и представить термин.) Но скорость эта – не письма́ и даже не чтения, хотя последнее и ближе: читатель всегда ближе к повествованию, чем автор. Это скорость самого повествования (скорость текста), которая осознаётся так же непосредственно и стихийно, как и его величина – длина, которую легко представить пройденным в

повествовании расстоянием. И так же, как величина-длина, дана и присутствует не только в произведении в целом, но и во всякой его мельчайшей части и подробности. Каждая строка, образ, сюжетный поворот, портрет или характер героя несут в себе и величину повествования, и его скорость. Обе не зависят друг от друга и друг другу параллельны. Совершенно понятно, что одно расстояние можно пройти с разной скоростью, как и то, что разные – с одной.

Возможно, категория скорости повествования явилась мне и оттого (это как-то таинственно связано, будто скорость я ощутил под рукой), что цикл написан давно не обычным для меня способом. С 92-го года я не писал от руки: сначала пишущая машинка, потом – компьютер. Все 14 рассказов, начиная с первого (и этот первый – по случайности и необходимости, а потом так и осталось), написаны от руки в школьных тетрадях (отчего-то это тоже приобрело принципиальность) о 18 страницах. В советское время такие стоили две копейки. (Интересно, какую роль в моем выборе носителя сыграла ностальгия.) Теперь они выглядят праздничнее и украшены, помимо таблицы умножения (впрочем, представленной тоже по-новому, в компьютерной стилистике) или правил грамматики, персонажами детских ужасиков. Иногда, по необходимости, я делаю рукописные же вставки в тетради на больших, согнутых пополам (как будто замаскируешь их под тетрадь, но это лицемерие) листах писчей бумаги. И это уже совсем не то. Не то чтобы сильно менялась ско-

рость повествования в этих вставленных на листах фрагментах, но она становится не такой стихийной и самостоятельной; за ней приходится следить.

Все рассказы написаны с середины августа 2012 года по начало мая 2013-го.

Бриллианты

Маврухин вез бриллианты. Об этом все знали. С ним ехали: его жена, дочь, их компаньонка, его секретарь, похожий на Гэри Олдмана. Бриллианты требовалось выкрасть, которые лежали в деревянном футляре с красной подкладкой, который был на дне багажного ящика, который находился под левой нижней полкой купе, в котором ехали Маврухин и его близкие. Делом занялся Антонов и его двое помощников, с которыми он привык работать: Герасимов и Швейцер.

Из купе ни Маврухин, ни ехавшие с ним не выходили. Если не считать того, что они по очереди, по одному, сбегали в туалет и засели опять. Они пили чай, причем Маврухин сам принимал стаканы у застрявшего в дверях проводника, громко смеялись, рассказывали полупристойные анекдоты, и, когда анекдот заканчивался, дочь Маврухина всегда краснела и прикрывалась ладонью, играли в слова, и первой здесь была жена Маврухина, всегда знавшая слово на нужную букву и тогда, когда остальные пасовали, и в карты, в которые обычно выигрывал секретарь, которого звали Жорж – и никто не мог нам сказать, это было его прозвище или действительное имя, например Георгий, переделанное на иностранный манер. Ходили слухи, что он был в связи с женой Маврухина и что, будто бы, замученный делами Маврухин об этом знал и даже покровительствовал. Но все это могло быть и

пустыми домыслами.

Все это создавало определенные трудности. Требовалось выманить любым способом семейство Маврухина из купе, чтобы проникнуть в него и забрать бриллианты. Антонов придумал взять на живца. Для этого следовало вывести из строя кого-либо из всей компании, чтобы к объекту собрались остальные.

Пришлось ждать еще день. К Киеву уже подъезжали. Не без труда втроем открыли в туалете окно, в которое сейчас же полез Швейцер – и обосновался на крыше. Начинались заморозки. Первой повторно в туалет направилась дочь Маврухина, Софья («Лотерея», – подумал Антонов, наблюдавший в дверное стекло, и не дал воли сожалению; посторонился, пропуская), апатичная красавица, худая, высокая, с длинной шеей и опрокинутым несколько готическим лицом. Продрогший Швейцер, принявший сигнал, быстро спустился с крыши, запрыгнул ногами вперед в окно сортира, задушил Софью заранее приготовленным и свернутым в петлю ремнем и тем же путем поднялся обратно. Затем вернулся через окно коридора в вагон.

Минут через 45 удивленная мать Софьи, Прасковья Дмитриевна, вышла за ней следом. Стучала в дверь туалета и не дозвалась. Из соседних купе повысовывались их обитатели. Показался наконец и Маврухин, за ним потянулись секретарь и компаньонка. Кликнули проводника. Пришел с ключом, отпер дверь, предоставив любопытным сидящую над

очком Софью с вывернутой головой. Прасковья, высокогрудая и высокопарная дама с чувством собственного достоинства, визжала, приседа. В собравшейся толпе, увеличивая общее беспокойство, сновал и буянил Герасимов. Говорили, что нужно остановить поезд и вызвать местную полицию. Другие – что тогда злоумышленник улизнет и что надо продолжать ехать в Киев, тем более что у меня дела, да, милостивые господа, и никакие задержки в пути в расчет мой не входят, говорил с нескрываемым раздражением, поглядывая на прикорнувшую Софью, как будто она была во всем виновата.

В соседнем вагоне случайно оказалась пара сыщиков, которые уже шли по проходу, дымя трубками и раздвигая выглядывающих в окна и обеспокоенных людишек. Антонов и Швейцер шли им навстречу. В тамбуре разминулись, оглядев друг друга. Через два вагона, вскрыв дверь, попрыгали друг за другом на поседевшую землю. Скатились по насыпи. Присев за ней, пережидали, по очереди привставая и провозжая взглядами иллюминированный поезд. Через полчаса к ним присоединился возбужденный Герасимов. Втроем вышли на шпалы и зашагали в противоположную сторону, в город. Еще похолодало. Довольный Антонов бережно прижимал к себе под шинелью коробку с бриллиантами.

Названия нет, и не будет

Кирилов сочинял в поездах. Мы не знаем, что его возбуждало: смена пейзажей за окном, или их особая унылость, неприютность, которую возможно увидеть только из поезда, люди, что там живут, ее не замечают, шлагбаум, цветастая бабка у ворот, ладонь козырьком, велосипедист, который никак не может вас догнать, да и не старается, исчезает, проваливается, отстает; или дрожащее отражение купе в вечерних стеклах, сначала слабое, потом, по мере чернения, все более отчетливое, пока вовсе не заменит собой изображение за окном; опущенное окно на верхней полке, когда создается приятная разность температур, воспаленно-жаркое тело и почти обмороженная, застывшая на ветру высунутая голова, убрать ее внутрь купе, вздохнуть, снова высунуться; или бабки с ящиками и сумками, малосольные мокрые огурцы с приставшими семечками, распаренная закутанная картошка, пирожки; сейчас этих бабок уже почти нет, куда делись? продают чипсы и пепси-колу унылые женщины из придорожного магазина, вытеснили, наверное, или стало невыгодно, терялся в догадках, сдают куда-нибудь оптом; ропот попутчиков внизу, шелест и треск бумаги, курица, помидоры, вареные яйца; топоток по сбитому половику в коридоре, окрик проводника, зябкий туалет с лужей на полу и черной раковиной, прокуренный душный тамбур, девушка у окна, у вас

нет спичек, есть, с готовностью, будто ждала, близко взяться за оконные прутья, чувствуя локтем грудь, не отодвигается, густые длинные волосы ниже плеч, некрасива, расстроена, с буйной порослью за лоском лосин; или качающийся ресторан с длинноногой (Набоков сказал бы – длинноглазой, я – длинноноздрой, Кирилов был обыкновеннее) потревоженной официанткой, проливающей кофе на скатерть. Взять сто пятьдесят и смотреть в окно на пролетающее отсутствие радости.

Дядя в Израиле, которого Кирилов никогда не видел, или не помнил, оставил наследство, которого, даже после налоговых потерь, было не то что много, но пока хватало на дорогу, хотя оно и таяло. Но Кирилов не думал о будущем. Он сходил на любой понравившейся станции, никогда не умея сказать, что его в ней привлекло, и снимал до утра комнату у злых бабок, толкущихся на площади и ненавидящих друг друга. Это были другие бабки, чем те, что продавали пирожки. Те были добрые, и их детские морщинки весело разбегались по лицу, а эти – злые, и их морщины сурово собирались к переносице, как войско перед тем, как идти в атаку.

Утром, подхватив сумку с парой книг, которых не открывал, писчей бумагой и набором ручек, бежал на станцию, ждал проходящего и договаривался с проводником, а тот уж его устраивал. Южное направление: Крым, Кавказ, Молдавия, которая иногда оказывалась по другую сторону Кавказа, у Кирилова была своя география. Белодомый, еще целый

Сухуми жарится на солнце, джинсы пристают и гремят, как жель, хинкальная на берегу, разноцветный загнутый язык мороженого. Алупка белкой прыгает вверх-вниз по лестницам, пляж под набережной, кольца над головой, к которым прежде найтовали корабли, когда-то туда подходило море. Сидя внизу на камне и глядя вверх на кольца, Кирилов представлял себя на дне морском. Ялта – бесконечный бульвар в кипарисах, «другой» пляж за металлической сеткой и татарский домик, где он снимал на сутки древнюю террасу. Он мало что видел вокруг. Еще меньше – запоминал. Восточное, которое больше любил: Поволжье, Урал, Сибирь, и так – до Владивостока.

Кино нон-стоп в поржавевшем, наскоро прибранном вагоне со снятыми перегородками, куда привел его Гудвин, и они долго шли, чередуя гремучий, ломкий под ногой стук с вагонной качкой и хватаясь за поручни. Гудвином его прозвал про себя Кирилов, потому что второй был похож на Ниро Вульфа (и навязчивая мысль, что их уже видел: десять лет назад, спортивная делегация, а он – гидом, но тогда они были организаторами с зарубежной стороны): пухловат, низкоросл, внутренне жизнерадостен и все время молчит, голова дела, хозяин, деньги – его, улыбается, ему здесь все кажется забавным. Арчи совсем в другом роде: говорлив, но угрюм, смуглая кожа, длинное сильное тело готово к прыжку, раздражителен, почти не обращает внимания на хозяина, но видно, как привязан к нему и готов бежать, его разговор-

чивость (отвлекает, что ли?), возможно, должна скрыть какую-то их суть, намерения, о которых Кирилов не знает. Соседи по купе: странная пара бизнесменов. Почему не самолетом? Кирилов сидел и придумывал сюжет о миллионере, боящемся летать. Одуревший от воздержания (до Москвы они тоже ехали) Гудвин рассказывал, раскинув по проходу ноги: я ее тогда втиснул в сортир, посадил в раковину, она: ах, нет, я – сиди, раздвинул ей ноги; я такой эмоциональный; когда возбуждаюсь, яйца лопаются; и не понятно, шутит или всерьез. Злой. Его тяжелый, постоянно работающий взгляд все чаще задерживается на голобородом, бледном, длинноволосом Кирилове, окидывает его, застывает, мертвея и прицениваясь. Кирилов торопится перевести разговор, его левая рука, прижимаясь, нащупывает сгибом бесполезную заточку в кармане. Он сочиняет рассказ о человеке, возвращающемся с зоны, одержимом, набухшем желанием (выражение «яйца лопаются» понравилось). Он знакомится в тамбуре с немолодым курящим лысеющим мужиком с простодушным веселым лицом: видно, командировочный, пьет его портвейн и после трахает на нижней полке, зажимая рот ладонью. Верхние – пусты. Два дня, три дня, пять, неделя. Но в Новосибирске он сошел, чувствуя освобождение и свежесть во всем теле, как избежавший опасности.

Город-архипелаг, острова жилья среди лесного разлива, или наоборот – островки леса среди волн и прибоев жилья. Автобусные трассы их соединяют. Заброшенная Обь подо

льдом, с гаражами и пустырями на той стороне, как в другом, безлюдном мире. А по эту – метро и толпы. Тоннели-тротуары: снежные утрамбованные стены над головой, с одного бока гудят невидные машины, по другую – лают собаки и голоса людей. Странно, необычно. И единственная улица исторического центра с красноватыми домами и площадью, как перед Большим театром. Присев на каменную скамью и дуя на пальцы, Кирилов сочинял о девочке, жившей в далеком городе Н. Она писала стихи, которые всем нравились, ходила в драмкружок и очень неплохо играла чеховскую Машу. И у нее было два поклонника, они учились в одном классе. Один ее очень любил, заботился, воровал для нее цветы с общественных клумб и из палисадников, приходил к ним домой без нее и помогал маме по хозяйству, так что все, немного усмехаясь, считали его женихом. Они даже целовались несколько раз. А второй не то чтобы был поклонником, ничего ей не говорил, но она знала, что он ее любит. Но он был другом первого и не хотел им мешать. Девочка была очень решительная, она встретила со вторым и сказала, что тоже любит его. Тогда они договорились, что она переговорит с первым, все ему объяснит, и тогда все опять устроится, и они втроем останутся друзьями. Рассказ начинался фразой: «Людей было много, а девочка – одна» – в подражание Генриху Манну.

Фрейдистская диалогия

1

Он давно сюда не заходил. С тех пор, как ушла Марта. По стенам висели разнокалиберные доспехи, безголовые и безногие. Светильники источали смрад и копоть. Тянуло сыростью, и тени плясали. Дальше подземелье тонуло во мраке, светильников там не было. Он вернулся и начал обход сызнова. Ничего не нравилось. Но он снял один, показавшийся неожиданно легким. Доспех выглядел игрушечным и был тесен. Раздался, отяжелел за последнее время, и это было понятно. Непонятным было другое: почему коротки кольчужные штаны и кираса не прикрывает живот, напоминая детский слюнявчик. Вырасти он, конечно, не мог. Снял и примерил другой, а тот бросил к стене, и он сложился, кособоко присел, как старая кукла из сказки про Карабаса.

Результат – тот же. Рукава не доходят до запястий. А рукавицы, напротив, огромные, раздутые, похожи на воздушные шары с пальцами. Брезгливо сдернул, и они затрещали в руках. Иногда так делают, перетягивают особым образом, очень ловко, раз, раз, вертят в руках, и выходит кошка, собака, лошадь или вот – с пальцами. Помнил по детству.

Все это время мама не отставала, ходила следом. Она шаркала, кашляла, сморкалась, трясла головой и следила за всеми его манипуляциями. Раз даже поскоблила пальцем доспех, будто оттирая грязь. Отступил на шаг, отстань! Шлем. Шлемы были отдельно, рядом наколотые на колья, как стрекозы. История как с рукавицами. Огромный – и похож на рыбий пузырь, так же матово прозрачен. Повертел головой. Он похож в нем на космонавта. Снял и бросил на шоколадный пол.

Морис ждал снаружи. Бродил пустым гулким двором в тенях башен. Металлический костюм ловко пригнан с ног до головы, забрало поднято, а за ним – черная борода и темные острые глаза. Левая рука – в перчатке, другую в ней держит. В голой правой – длинный меч, которым постукивает перед собой по плитам. «Мама! – кричит Рудольф, и подземелье отзывается, – что же делать, что делать? Я не могу ничего подобрать». – «Успокойся, – шамкает старуха. – Попробуй еще. Все будет хорошо, вот увидишь». – «Нет, – в отчаянье говорит Рудольф, – не надо было принимать этот чертов вызов. Убьет он меня». – «Ты победишь, сын, я знаю. Вот, примерь еще один,» – показывает старуха на залитый красным светом доспех. – «Нет, – качает головой Рудольф. – Убьет».

Они переходят к стене напротив. Там – мечи. Мечи были настоящие. Он выбирает один, подлиннее, с двойной рукоятью. И возвращается к доспехам, к их началу, где висят кожаные. Ему вдруг становится весело. Он решает надеть кожаные.

ную куртку и обойтись без рукавиц. Пусть. Так он будет отличаться. Он представляет, что подумает Морис, когда увидит его почти незащищенного; ему будет трудно. Куртка – без рукавов. Он смотрит на свои голые, еще мускулистые, в синих развилках, руки. Кожа чувствует сырость и сквозняк, и это почти приятно. «Мама, мама, – говорит он. – Морис отрубит мне руку». Он представляет, как его рука падает с глухим шлепком на плиты двора и из разверзшегося плеча хлещет кровь. Боли он не чувствует. «Погоди, сын, – говорит старуха. – Тебе сейчас нельзя так думать».

Они выходят во двор, жаркий и душный после подземелья. Солнце выглядывает, и он замирает ослепленный. Темная тень Мориса на противоположном конце плывет и дробится. Он идет туда, обеими руками держа меч перед собой.

2

Кремль, танки, девушки-автоматчицы.

Его стены кажутся краснее обычного и выглядят новенькими, будто только отремонтированные. Башенки с часами и без, со звездами, крестами и флажками, всё очень свежо и красиво. И похож на торт. Торговая площадь пуста. Вокруг – невысокие холмы. На вершине одного вырыта неглубокая канава, по ее краям – мы. Только головы и стволы торчат. Мы – это пулеметная команда, и мы ждем. Я – командир. До меня волнами доносится из-за стен гул и ропот, иногда взды-

маются отдельные выкрики. Я чувствую, как им там страшно, какой ужас владеет ими.

Ворота еще не закрыты, и, приподнимаясь, я вижу кусок брусчатки. Только что там исчезла последняя подвода. Будто съедена. Бежали в страхе, панике, сталкиваясь, ругаясь, цепляясь осями и колесами, переворачиваясь и образуя свалки и заторы. Успели, кажется, все. Вот – закрыли. Я чувствую одиночество и оторванность. Тихо. Только дальний ропот, к которому теперь примешивается звук моторов. Танки идут очень медленно, отсюда кажутся спичечными коробками. Но по мере приближения растут. Вместе с их гулом. Башни вращаются. За ними, в длинных развевающихся плащ-палатках и низких касках, дружно бегут автоматчицы. Мы знаем, что это женский батальон, недавно сформированный.

Танки подходят к стене, останавливаются и дают залп. И тут же трогаются дальше. Им отвечает из-за стены вопль. Если б не он, Кремль казался бы вымершим. Ни выстрела оттуда. Они надеются только на нас. Танки разворачиваются и так же медленно, переваливаясь, едут вдоль стены. Иногда замирая и бабахая. Перед каждым выстрелом пушки, кажется, надуваются. Автоматчицы мерно бегут следом. Они немного отстают, но не убыстряют бега. Я вскакиваю и кричу: «Вперед!» А потом: «Ура-а-а!» Крик мой подхватывают. Мы скатываемся с холма и несемся к ним, наперевес со своими ручными пулеметами, штативы болтаются из стороны в сторону. Только у меня – пистолет, которым я размахиваю.

Кто-то из автоматчиц падает, другие продолжают бежать, по-прежнему равномерно. Мы движемся им наперерез, чтобы вклиниться между ними и танками. И без конца стреляем. Они отвечают нам отрывистыми очередями. Танки продолжают путь не вмешиваясь. Мы вторгаемся в разрыв между танками и автоматчицами – и теперь бежим им навстречу. Я вижу их равнодушные лица. Сначала они останавливаются и сбиваются в одну кучу, но потом от общей массы начинают отделяться по двое, по трое и бегут в разные стороны. Я несколько раз стреляю в ближайшую ко мне – и вижу ее раскосые глаза. Она падает, раскинув ноги. На ней – короткая, защитного цвета юбка и такие же колготки. Приподнявшись, она глядит на меня, а потом пытается наставить на меня автомат. Я стреляю в нее в упор. Пули рвут ее тело, и она откидывается, затихая.

Я оглядываюсь. Вокруг меня идет рубка. Я вижу, как Петров разбивает голову одной, а Стрельников с Красновым преследуют другую, догоняют, сбивают с ног и расстреливают сверху. А она перекатывается под выстрелами. Немного их народа собралось под самой стеной. Сгрудились, как овцы. Сверху льют на них помои и горячую воду, а несколько наших, взяв их в полукольцо, стоят, опершись на пулеметы, и наблюдают.

По всей площади идет преследование. Наши гонятся за ними, настигают и добивают прикладами или выстрелами, избивают, топчут, давят, несутся дальше, оставляя трупы.

Бой затихает. Он еще вспыхивает в разных местах отдельными стычками и перестрелками, но уже видно, что все устали. Наши возвращаются. Троиц или четверым из их отряда удастся вырваться, и они бегут уже далеко в обратную сторону. Мы их не преследуем. Мы смотрим вслед уходящим, совсем маленьким отсюда танкам. Все оказалось не так уж страшно. Ворота открываются, и оттуда выглядывают перепуганные лица.

Поспорили на сто рублей

М. Г.

Поспорили на сто рублей. По тем временам огромная сумма: самосвал сахара, половина министерского оклада. Ковригин присосался к бутылке: натужась, раздувая горло, глотал. Бутылка трудно пустела. Майор и трое солдат на пустыре, где собрались, – следили. За распитие в общественном месте по этим временам могли и шлепнуть. Тем более – военнослужащих. Трибунал. Является ли пустырь общественным местом, никто не знал. Ощущение опасности будоражило. Оставалась последняя треть. Ковригин запрокидывался. Остановится, передохнет – проиграл. Рука дергается, шея и морда покраснели, в двух местах на скулах лопнула кожа – и оттуда выступила желтая гадость. Майор смотрел с улыбкой. Он ни минуты не сомневался, что Ковригин сдюжит. Спорил, скорее, чтоб себя показать. То, что предстояло ему, вызывало привычную дрожь и холодок по хребту. Ради них он это и делал. Солдаты – с восторгом. Один ритмично глотал вослед Ковригину, помогая. Последний глоток с шумом вошел в глотку. Ковригин отнял бутылку, похожий на оттрубившего горниста. Задыхаясь. Майор пошел его обнимать. Кто-то уже совал луковицу. Ковригин отстранил и того, и другую. Еще постоял, передохнул. Кровь от-

лила. Промокнул платком желтую слизь на скулах. Взял луковицу, жевал. Через пару минут вернулась речь. Майор обнимал, говоря: «А я знал, знал. Здоровяк, люблю». Звучало двусмысленно. «Отступишь, майор», – прохрипел Ковригин. Майор только хитро помотал головой: «Где?» Ковригин пожал плечами, дожевывая. «Надо только найти где, у кого», – майор озабоченно озирался. Солдаты в стороне обсуждали виденное. «Я знаю». Майор зашагал первый, остальные потянулись за ним. Дорóгой рассказывал: «А я одного знал, так он что делал, не в обиду тебе будет, – отнесся к Ковригину. – Две бутылки. Приставит обе ко рту, наподобие рожочника, сосет, но не глотает, а набирает в зоб. Зоб набухает, оттягивается. – Майор показал: – Вот такой. Две бутылки таким образом втянет, а потом глотает разом. Не знаю уж, как у него получалось». Слушатели дивились. Остановились у одной избы. Жарко. Солнце распухшее, отяжелевшее, будто сейчас родит. По жалким улочкам гарнизона бродят одуревшие куры. Майор толкнул дверь. Вошли. Баба у плиты оглянулась на стук, замерла, бросилась в комнату. Топая сапожищами, кинулись за ней. Поймали, суя локти в рот и пихая, оттеснили в угол. В другом, в кроватке, спал младенец. Лет трех. Майор шагнул. Баба зашлась в крике. Майор извлек младенца. Ковригин, солдаты с обомлевшей, разинувшей рот бабой подошли. Младенец проснулся, хлопая веками, захныкал, вертя головой. Майор большими пальцами остановил голову, припал к губам. Младенец издал вро-

де клеткота, затих, содрогаясь. Майор будто сосал. Остальные – Ковригин, баба, солдаты – смотрели. Тело младенца будто втягивалось само в себя, ужимаясь. Это называлось выдохнуть всего. Шея майора между стриженным затылком и воротником багровела и раздувалась, как недавно у Ковригина. Оторвался, держа в вытянутой руке дохлую опустевшую тушку. Отбросил. Ребенок на полу перевалился, как тряпичная кукла. Ножки пересеклись. Потрясенный Ковригин доставал бумажник, хрустел сотенной. «Поровну, поровну! – заголосили солдаты. – Оба выиграли!» Майор, добродушно улыбаясь, остановил руку Ковригина: «Да, поровну!» Вышли. О майоре ходили разные слухи. Что будто он может выдуть дыхание. Что будто даже у лошади. И что будто кто-то даже и видел. Припадет к морде, вдохнет, и через минуту лошадь падает мертвой. Но то лошадь, а то живой человек, пусть и младенец. Впрочем, в лошадь Ковригин тоже не верил. А вот на тебе! – «Слушай, а со взрослым, ну, хоть с подростком, пробовал?» – спрашивал дорогой. Майор шел, пошатываясь, улыбаясь. Устал. «Не знаю, не знаю. Тут очень много сил потребуется. Попробуем как-нибудь». Двое встреченных военнослужащих козырнули. Майор лихо ответил, оглядываясь. На пороге стояла баба с мертвой игрушкой у груди.

Труп

В три отключили горячую воду, в четыре – свет. Рубин озяб и решил затопить камин. Заглянул в дымоход – ни дохлой кошки, ни ворон. Вроде бы. Камин был настоящим, не электрическим. Но его не запускали никогда. Во всяком случае, Рубин не помнил. Надел тулуп, валенки; скрипя ступенями, спустился. В кладовой, среди обилия инструментов, – вилы (зачем им вилы?), лопата, еще одна – совковая, грабли (а грабли?) и топоры, топоры. Выбрал один по руке, с изящно выгнутой, как лебедь, рукоятью. Подумал, оборвал со стены веревку, висела, подпоясался. Топор заткнул за пояс. И тем еще больше стал походить на лесовика из иллюстраций Ильи Глазунова к Лескову. Захватил ушанку с крючка и потопал, обвыкаясь в валенках, к двери. Отпахнув ее, вывалился во двор. И замер, изумленный сверкающим хрустящим зимним днем. В доме, с затемнениями на окнах, с погашенным светом, он уже привык думать, что вечер. Разнашивая валенки, свернул к лесу, темневшему между срубам коттеджей разной степени готовности. У одного – только фундамент, доверху засыпанный снегом, у другого – самый низ стены, у третьего – до середины, еще – уже окна обведены. Но крыши не было ни на одном.

Работы не велись недели две, у хозяев начались проблемы с деньгами. А сменщик говорил, что собираются продавать.

Так ли, Рубин не знал, но ему было все равно. Единственный достроенный и уже проданный был тот, где они жили. Раньше жили в вагончике. Но хозяева коттеджа договорились, чтобы у них. Заодно и за домом специально присмотрите. Но сами здесь почти не бывали. За полгода приезжали раза два. Вроде бы (Рубин не стал вспоминать). И оба – с телками. Вместо жен. Два брата. Одной Рубин даже попользовался. Не потому, что очень нужно было, – даже удивился, что все вышло. Но ему было интересно, что он трахает хозяйскую телку. Вроде удовлетворения. В вагончике Рубину нравилось больше.

В десяти минутах хода от них, в обратную от леса сторону, была другая стройплощадка, где хозяева побогаче и дело поставлено иначе. Работы не прекращались – а у них, на памяти Рубина, уже второй раз: может, обойдется, – и сторожили ее какие-то вроде молдаване, с собакой, оружием, всегда втроем, все большие и со зверскими лицами – Рубин сходил туда из любопытства, – что для молдаван вообще-то не очень типично. Встретили неприветливо, выясняли, окружив, кто. И больше туда не совался. Только издали смотрел на темные снующие фигуры. Как солдатики. Днем – рабочие, с вечера – сторожа. Рабочие, кажется, тоже были молдаване. И слушал отчаянный собачий лай.

В лесу ступил на вытопанную им же глубокую тропу, будто вырубленную в застывшем снегу. За горкой, он помнил, здесь сухие деревья и валежник. Следя по сторонам, чтобы

не пропустить, – заметил справа, под деревом, разлапистую светлую тень на снегу. Это могло быть что угодно. Вчера, прогуливаясь, ничего такого не видел. Вроде бы. Под деревом лежал труп. Он обошел вокруг, скрипя в валенках, удивляясь, что не испытывает ни страха, ни отвращения. На трупе было дорогое, длинное, чуть не до пят, бежевое пальто, распахнуто, – вероятно, рылись, – и дорогой, тоже песочного цвета, костюм. Труп был без головы. Рубин с любопытством заглянул в обмерзшую, заснеженную воронку с ломкими слюдяными окнами крови.

Надо вызывать ментов. А для этого – опять к молдаванам. Или еще дальше – в деревню, где была почта. Если работает. И сквозь деревья можно было видеть, как вдали, за молдаванами и узкой речкой с мостком, курился караван крыш. В доме телефон был, но не подключен. Мобильник разрядился, и подзарядник не привез. Кому тут звонить?

Опять объясняться. Он представил морды охраны, с цепи рвущегося пса. И в деревне. Если там вообще есть телефон. Потом наедут менты. К ночи. А я подозреваемый. Почему ничего не слышал. И кто его так? В стороне, неожиданно теряясь, – ослабевшие обмерзшие колеи от машины. Труп лежал на спине, заснеженный и заиндевевший, и чем убит, было неясно. Надо было найти голову. Рубин не знал, с чего он решил, что она должна быть поблизости. Действительно. В кустах, где он собирался таскать и рубить валежник, – прижав их, лежала голова с открытыми, обметанными снегом

ртом и глазами. Зачем отрезать голову, чтобы ее тут же и бросить? Хотел перенести к труп, но вспомнил, что трогать ничего нельзя. Вернулся. Тело лежало там же. Вдруг чуть, но очень видно стемнело, будто свет приглушили, и дальше темнело уже безостановочно, будто подключили реостат. И тут Рубин понял, что вызывать никого не станет. Огляделся. Труп был его, и он его никому не отдаст. Сходил за головой. Вынув из оттопыренных карманов тулупа варежки с пальцами, надел. Осторожно, на вытянутых руках, перенес. Поддернул сползший за поясом топор и попер к дому.

Поднялся к себе. Взял чайник, не торопясь собрал немного еды: уже открытую банку тушенки, колбасы, пачку чаю. Нож и спички. Сошел вниз. Забрал из кладовки лопату, перекинув ее через руку, ухватил канистру с соляровкой, кипу газет – под другую. Все это, что нес, мешало, вываливалось, лопата сползала и задевала землю. Пришлось сходить еще раз – за выскользнувшими газетами, которые теперь были в снегу. Сложив всё у трупа, пошел к зарослям сухостоя. Сносил его и рубил в кучу, потом переносил охапками. На снегу развел костер. До того, за всей беготней, не чувствовал холода, а тут вдруг пробрало. Грел руки, и пальцы кололо. Набрал в чайник снега, кипятил, выставив его прямо в огонь. Сев на труп, резал на весу колбасу и хлеб. Разложил на коленке. В кружке заваривал чай. Тушенка с дымящейся кружкой на снегу, под кружкой таяло. Сняв рукавицу, с удовольствием жег о кружку мерзшие руки. С ножа ел тушенку. Колбасу

кчал на хлеб и ел опять. Обжигаясь и дуя, пил чай. Стряхнул крошки, притоптал их. Затоптал пустую банку. Сполоснул кружку, выплеснул из нее на снег, а заварку опять притоптал. Взяв лопату, долбил и резал снег вдоль трупa. По размеру. Копал. По сторонам в человеческий рост траншеи легли сугробы. Докопался до земли, полезла наверх, желтая, сытая. Решил, что достаточно, стащил труп, лицом вверх, аккуратно, – хотя лица-то у него и не было, – поправил, запахнув, пальто; следом скатил голову. Навалил сухих веток, полил соляркой, за нижние сучья перетащил и уложил сверху лениво дремлющий костер. Пламя взметнулось. Затрещало. Пошел черный, пятнистый дым. Стало уже почти темно, и он думал, что дыма из леса не должно быть видно. Ветра не было, но дым относилось воздушным течением. Без запаха. Стоял на краю траншеи, смотрел и слушал потрескивания, всхлипывания. Когда огонь ослабевал, поливал соляркой еще, сбивая, заливая огонь. А он брался с новой силой. Когда все прогорело – или он решил так, – нагнулся над траншеей и не рассматривал ничего. Выдернув воткнутую рядом лопату, сгребал и кидал снег с землей. Засыпав, утрамбовывал, притоптывая и приплясывая. Снег просел, и он накидал еще. Снова топтал и плясал, попеременно поднимая руки, поворачиваясь то одним боком, то другим. Совсем разогрелся. Вполголоса напевая. Шапка съехала набок. Поверх могилы снег лежал совсем чистый, свежий, изуродованный его ногами. Разгладил лопатой свои следы, жалея, что не взял метлу. Собрав умень-

шившийся скарб, пошел к дому, почти ошупью, не различая тропу под ногай.

Со стороны свидетеля

Мне было двенадцать лет, когда я видел убийство. Жил я тогда очень свободно, возвращался домой поздно: в общем, сладу со мной не было. Интеллигентная семья. Мать – преподаватель в музыкальной школе, бабка – бывшая балерина, она и в старости была, знаете, на ее спину оглядывались, а она усмехалась в усы, потому что у нее были усы, серые, свисающие. А отец – профессор в педвузе, но с нами не жил, я его редко видел. Смотрела за мной бабка, ну, как смотрела, вот именно – как могла. Это она говорила про «сладу нет». А еще звала меня «горем луковым». Семь лет назад умерла, но иногда вспоминаю. Она меня любила. Мать в основном на работе: либо в школе своей, либо – по урокам. Денег не хватало.

Я тоже ходил в музыкалку, играл на аккордеоне, и, знаете, нравилось. Только это и нравилось, то есть играл с удовольствием. И один, дома. Пристроюсь у окна. Всё видно, а я перебираю клавиши. Мне нравилось, какой получается звук. Еще гитара, Леха показал аккорды – и сразу пошло. Мне это было просто. А в школе скучно. Я там редко бывал, в смысле – на уроках. Но каждый день шел к половине девятого, бабка собирала, оправляла у двери воротник, просила: «Ты уж сходи в школу, горе ты мое луковое. Мать пожалей. Знаешь ведь, как переживает». Я знал. Думаю, каждый раз шел с

уверенностью, что попаду на уроки. Но у яичного школьного цоколя сворачивал за угол. Там играли в орлянку. Я бросал портфель и присоединялся. Незаметно проходило время. Иногда, выигрывая, считал, присев, прибыль. Или проигрывая. И тогда – сколько осталось.

Дрались, по правилам, за гаражами. Вокруг собрались, обступили кольцом, считают, сколько кто пропустил. Как на ринге. Курили бычки. Бегали в автоматы пить пиво. Мне нравилось стоять с мокрым ртом. Пугали девчонок, а те визжали, но не уходили. Кучковались в стороне и смотрели. Мы им были интереснее, мы отличались от тех, которые сидели с ними за партами. Мать вызывали в школу, она плакала, вернувшись. Я обещал, что не буду больше. Чтó не буду – не имело значения. Не прогуливать, учиться. В смысле – буду. Но теперь я уже не мог. Чем дальше, тем сложнее было вернуться. Иногда приезжал отец, упрямо говорил со мной. «Ты думаешь, чтó с тобой будет, или нет? Смотри, до чего мать довел. Ты что, хочешь на второй год?» Мне было все равно. Почему я? Он довел. Я смотрел на его длинный седой череп и думал: если его стукнуть сейчас, он сразу отрубится, убежит или будет сопротивляться? Вряд ли. Он был урод. У него была своя семья; не знаю, чего приезжал, мог бы оставить нас в покое. Ну так чтó ты думаешь? в пространство спрашивал он. А я пожимал плечами. Ничего, наверное.

В тот раз я возвращался часов в двенадцать или около того. Может, в полпервого. Апрель, вторая половина. Но зяб-

кий. Я поднял воротник пиджака, а ногами пинаю какой-то пластиковый пузырь. Шума от него было не очень много. Но он трещал. И думаю, думаю, как опять объясняться дома. Я не пил, тут опасности не было, но табаком пахну, и время, главное. Мать, конечно, не легла, ждет. Бабка носит ей чай, вздыхает. Я тоже вздыхаю.

Впереди идет какой-то урод, пьяный, по-видимому, но не очень. Держится прямо. А еще перед ним – компания, человек пять, вразброд и тоже пьяных, но иначе. Там недалеко пивной ресторан. Я думаю, вот они оттуда. А мне уже интересно, потому что так просто это закончиться не может. Я замедлил шаги, чтобы не обгонять. То есть у них ленивый пивной кайф, а у уroda – беспокойный, винный. Вот он их догнал, разговаривают. То есть он с одним из них разговаривает, а остальные вокруг идут, тоже слушают. Я думаю, нет, все равно разговорами не обойдется.

Они свернули в такой сквер не сквер, вроде палисадника, но без загородки. Тот, что разговаривал, спрашивает: «Отлить не хочешь?» Да, о чем разговаривали-то. Этот урод с кем-то там повздорил, ну, откуда шел. Кого-то стукнул, кажется – бабу, я не очень понял. Его тоже стукнули, и всё. О чем говорить? Если вступился кто-то. А этот переживает, говорит, что его надо наказать. Ну, надо так надо. «Отлить хочешь?» – «Нет». И рядом стоит. Один из них штаны поддернул; я смотрю, сзади заходит и нож к горлу приставил. Урод хрипло смеется, пьяный. Берут у него сумку,

один другому перебросил. Отдает. Они уж и не знают, что делать. Один бьет его по ногам, тот легко падает. И они начинают его метелить, а сами думают, когда ж он вырвется и убежит. Но он только руками прикрывается. И в лицо, и в живот, и по ребрам несколько раз. А что дальше – явно не знают, это я понимаю. Даже как-то очень нерешительно его пинали. Если б он поднялся и побежал, они б его отпустили. Тут один из них говорит: «Может, его куда-то оттащить?» – и подхватывает под ноги. Я думаю, чтобы тот наконец задвигался. Остальные за руки, этот болтается, несут, я за ними. Уже и о матери забыл, не часто такое увидишь.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.